# Поэт

# Уильям Сомерсет Моэм

Перевод: Н. Галь

Меня мало интересуют знаменитости, и я всегда терпеть не мог страсть, которой одержимы столь многие — непременно жать руки великим мира сего. Когда мне предлагают познакомиться с кем-то, кого возвышают над простыми смертными чины или заслуги, я стараюсь, подыскав благовидный предлог, уклониться от этой чести; и когда мой друг Диего Торре хотел представить меня Санта Анье, я отказался. Но на сей раз объяснил свой отказ чистосердечно: Санта Анья не только великий поэт, он еще и фигура романтическая, и занятно было бы увидеть на склоне его дней человека, чьи приключения стали (по крайней мере, в Испании) легендой; но я знал, что он стар и болен, — надо полагать, его только утомит появление постороннего, и притом иностранца. Калисто де Санта Анья был последним отпрыском Великой Школы; в мире, где байронизм не в почете, он жил по Байрону и описал свою бурную жизнь в стихах, принесших ему славу, какой не ведал ни один его современник. Не могу судить о его творениях, потому что прочитал их впервые в двадцать три года и тогда пришел от них в восторг; полные страсти, дерзкой отваги, буйства красок и жизненных сил, они вскружили мне голову — и по сей день эти звучные строки и покоряющие ритмы неотделимы для меня от чарующих воспоминаний юности, и сердце мое начинает биться чаще всякий раз, как я их перечитываю. Я склонен думать, что в странах, где говорят по-испански, Калисто де Санта Анью чтят по заслугам. В ту давнюю пору вся молодежь повторяла его стихи, и мои друзья без конца рассказывали мне о его неукротимом нраве, о его пылких речах (ибо он был не только поэт, но и политик), о его язвительном остроумии и любовных похождениях. Он был мятежник, безрассудно смел, и подчас бросал вызов законам; но прежде всего он был любовник. Все мы знали о его страсти к такой-то великой актрисе или к некоей божественной певице, — мы ведь зачитывались пламенными сонетами, в которых он живописал свою любовь, свои страдания, свой гнев, мы твердили их наизусть! — и нам было известно, что испанская принцесса, надменнейшая наследница Бурбонов, уступила его мольбам, а когда он ее разлюбил, постриглась в монахини. Ведь когда какому-нибудь из Филиппов, ее царственных предков надоедала любовница, она уходила в монастырь, ибо не пристало возлюбленной короля принять потом любовь другого, а разве Калисто де Санта Анья не выше всех земных королей? И мы воздавали хвалы романтическому поступку принцессы — это делает ей честь и лестно для нашего поэта.

Но все это было много лет назад, и дон Калисто, презрев мир, который больше ничего не мог ему предложить, уже четверть века жил отшельником в своем родном городе Эсихе. Я собрался побывать там (я как раз приехал недели на две в Севилью) не ради Санта Аньи, просто это прелестный андалусский городок, милый мне и со многим для меня связанный, и, узнав о моем намерении, Диего Торре предложил представить меня поэту. По-видимому, дон Калисто изредка позволял писателям младшего поколения навещать его и порой в беседах с ними проявлял тот же пыл, что зажигал слушателей в славные дни его расцвета.

— А какой он теперь с виду? — спросил я.

— Великолепен.

— Есть у вас его фотография?

— Если б была! С тридцати пяти лет он не позволяет себя снимать. По его словам, он хочет, чтобы потомки знали его только молодым.

Признаться, этот намек на тщеславие меня растрогал. Я знал, в молодости Санта Анья был красавцем, и сонет, написанный им, когда он понял, что молодость миновала, берет за сердце: чувствуется, с какой болью, с какой горькой насмешкой следил поэт за увяданием своей редкой красоты, которая прежде так всех восхищала.

Однако я отклонил предложение друга; мне довольно было вновь перечитать хорошо знакомые стихи, вообще же я предпочитал свободно бродить по тихим солнечным улицам Эсихи. И потому несколько даже испугался, получив вечером в день приезда собственноручную записку великого человека. Из письма Диего Торре он узнал о моем приезде, писал Сайта Анья, и ему будет очень приятно, если назавтра в одиннадцать часов утра я его навещу. Теперь мне ничего другого не оставалось — в назначенный час надо было к нему явиться.

Гостиница моя была на главной площади, в это весеннее утро очень оживленной, но стоило свернуть за угол — и казалось, я иду по городу, покинутому жителями. Улицы, эти извилистые белые улочки, были пустынны, разве что изредка степенно пройдет женщина вся в черном, возвращаясь с богослужения. Эсиха — город церквей, куда ни пойдешь, то и дело перед глазами изъеденные временем стены или башня, на которой свили гнездо аисты. В одном месте я приостановился, глядя на проходящую мимо вереницу осликов. На них были выцветшие красные чепраки, и уж не знаю, что за груз несли они в свисающих по бокам корзинах. А когда-то Эсиха была городом не из последних, и на многих воротах перед белыми домами красовались внушительные гербы, ведь в этот отдаленный уголок стремились богачи Нового Света, и здесь на склоне лет селились авантюристы, которые нажили себе состояния в Северной и в Южной Америке. В одном из таких домов жил и дон Калисто, и, когда я позвонил у решетчатой калитки, мне приятна была мысль, что жилище его так ему подходит. В тяжелых воротах было какое-то обветшалое величие, и оно гармонировало с моим представлением о прославленном поэте. Я слышал, как отдавался в доме звонок, но никто не отворил мне, и я позвонил еще раз, и еще. Наконец к калитке подошла усатая старуха.

— Что вам? — спросила она.

Ее черные глаза были еще красивы, но лицо угрюмое, и я подумал, что это она, должно быть, заботится о старом поэте. Я подал ей свою визитную карточку.

— Ваш хозяин меня ждет.

Она отворила железную калитку и впустила меня. Попросила подождать и ушла по лестнице в дом. После раскаленной солнцем улицы патио радовал прохладой. Он был благородных пропорций, и можно было подумать, что построен он каким-нибудь последователем конкистадоров; но краска потускнела, плитка под ногами разбита, кое-где отвалились большие куски штукатурки. Всюду следы бедности, но отнюдь не убожество. Я знал, что дон Калисто беден. Бывали времена, когда деньги доставались ему легко, но он относился к ним пренебрежительно и тратил щедрой рукой. И явно живет теперь в нужде, но замечать ее ниже его достоинства. Посреди патио стоял стол, по сторонам его качалки, на столе — газеты двухнедельной давности. Знать бы, каким грезам предается старик, сидя здесь теплыми летними вечерами и покуривая сигарету, подумал я. По стенам под аркадой развешаны были потемневшие, дурно написанные испанские полотна, кое-где стояли старинные пыльные bargue o (шкафчик с выдвижными ящиками — исп.) с блестящей, местами поврежденной инкрустацией. По сторонам двери висела пара старинных пистолетов, и я с удовольствием вообразил, что они-то и послужили дону Калисто в знаменитейшей из его многочисленных дуэлей, когда ради танцовщицы Пепы Монтаньес (теперь, наверно, она беззубая старая карга) он убил герцога Дос Эрманоса.

Все вокруг пробуждало образы, которые я смутно угадывал, и так подходило знаменитому поэту-романтику, что дух этого дома всецело завладел моим воображением. Эта благородная нищета окружает его сейчас столь же славным ореолом, как былое великолепие его юности; в нем тоже сохранился давний дух конкистадоров, и ему очень к лицу кончить свою прославленную жизнь в этих великолепных полуразрушенных стенах. Конечно же, так и подобает жить и умереть поэту. Я пришел сюда довольно равнодушно, даже немного скучая в предвидении этой встречи, но постепенно мною овладело беспокойство. Я закурил сигарету. Пришел я точно к назначенному часу и теперь недоумевал, что же задерживает старика. Тишина странно тревожила. В этом тихом патио толпились тени прошлого, и давно минувший, невозвратный век вновь обрел для меня некую призрачную жизнь. В те дни людей отличали страсть и неукротимый дух, от каких в нашем мире не осталось и следа. Мы уже не способны поступать столь безрассудно и геройствовать столь театрально.

Я услышал какое-то движение, и сердце мое забилось быстрей. Теперь я волновался, и когда увидел наконец, как он спускается по лестнице, у меня даже дух захватило. В руках он держал мою карточку. Он был высок, очень худ, кожа чуть с желтизной, точно старая слоновая кость; грива седых волос, а густые брови еще темны, и от этого мрачнее кажется огонь, сверкающий в великолепных глазах. Поразительно, что в такие годы его глаза еще сохранили свой блеск. Орлиный нос, плотно сжатые губы. На ходу он не сводил с меня глаз, в них не было приветливости, казалось, он холодно меня оценивает. Он был в черном, в руке широкополая шляпа. Во всей осанке уверенность и достоинство. Он был такой, каким я хотел бы его видеть, и, глядя на него, я понял, как он потрясал умы и покорял сердца. Да, весь его облик говорил: это поэт.

Он спустился в патио и медленно подошел ко мне. Взор у него был поистине орлиный. Для меня настала неповторимая минута, вот он передо мной, наследник великих испанских поэтов прошлого — за ним мне видятся великолепный Эррера, задушевный тоскующий Фрай Луис, мистик Хуан де ла Крус и сложный, темный Гонгора. Он — последний в этой длинной череде, и он достойно шел по их стопам. Странно, в душе моей зазвучала прелестная, нежная песнь, самое знаменитое из лирических творений дона Калисто.

Я смешался. По счастью, у меня заранее заготовлены были первые слова приветствия.

— Маэстро, для меня, чужестранца, необычайная честь познакомиться со столь великим поэтом.

В проницательных глазах мелькнула насмешливая искорка, и суровые губы на миг дрогнули улыбкой.

— Я не поэт, сеньор, я торгую щетиной. Вы попали не по адресу. Дон Калисто живет в соседнем доме.

Я ошибся дверью.